

ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ



Семён Маркович

В начале было Слово

Семён Маркович

Двойная запись

«Автор»

2026

Маркович С.

Двойная запись / С. Маркович — «Автор», 2026 — (В начале было Слово)

Что будет, если заменить золото обещанием — и назвать обещание деньгами? Тамплиеры это сделали в тринадцатом веке: расписка вместо монеты, печать вместо серебра, доверие вместо металла. Система работала, пока работала вера. Потом пришёл король, который верил только в конфискацию, — и людей в белых плащах вывели из ворот со связанными руками, а золото увезли на пятнадцати телегах. Две телеги были пустыми. Кто-то вывез раньше. Кто-то посчитал. Четыреста лет спустя шотландец по имени Джон Ло предложил то же самое, только масштабнее: бумажные деньги, обеспеченные словом «банк». Люди стояли в очередях за бумагой. Потом бумага кончилась. Не физически — метафизически: люди посмотрели сквозь неё и увидели, что за ней ничего нет. Между золотом и бумагой разница — только в весе. Между картошкой и банком — только в масштабе. Между верой и мошенничеством — только в количестве верующих. Вера определяет спрос.

© Маркович С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ДЕБЕТ	5
Пролог	6
Глава 1. Шампань	8
Глава 2. Акко	16
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Семён Маркович Двойная запись

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ДЕБЕТ

1285–1314

Пролог

Тампль. Ночь на 12 октября 1307 года.

Мул не хотел стоять.

Он переминался, фыркал, мотал головой и косил круглым мокрым глазом на человека, который второй час таскал из подвала ящики и складывал их в телегу, накрытую сеном, плохим сеном — прелым, с болотным запахом, сеном, которое ни один нормальный мул есть не станет, но этот мул был ненормальный: он потянулся, выхватил клочок из-под ящика, пожевал и выплюнул.

— Умный, — сказал человек. — Не ешь. Под сеном — не сено.

Мул фыркнул. Человек вытер лоб рукавом — белый рукав, белый плащ, без креста, хотя крест должен был быть, красный, на левом плече, но человек его спорол ещё вечером и бросил в огонь, и крест горел долго, потому что ткань была плотная, и пах палёной шерстью, и от этого запаха мул чихнул.

Двор был пуст. Тампль спал — спали рыцари, спали оруженосцы, спали слуги, спали конюхи, спали лошади, и только крысы не спали, крысы бежали вдоль стен хранилища торопливо, деловито, как бегут те, кто знает что-то, чего не знают спящие. Человек посмотрел на крыс. Крысы знали. Крысы всегда знают раньше людей — раньше инквизиторов, раньше королей, раньше бухгалтеров. Крысы уходили из Тампля.

Он вернулся в хранилище.

Свеча на столе оплыла на треть — три часа работы, если стандартная, орденская, из бычьего жира с примесью пчелиного воска. Стандартная. Он сам утвердил рецептуру — сто шестьдесят лет назад, когда свечи делали хуже, и коптили, и от копоти чернели свитки, и он написал регламент, в котором было указано: бычий жир — семь частей, пчелиный воск — три, фитиль — льняной, крутка — левая. Регламент исполнялся до сих пор. Свеча горела ровно. Свитки не чернели. Регламент переживёт его — как переживает всё, что записано.

На столе — раскрытый Гроссбух, последняя страница, ровный почерк. Перо лежало справа от чернильницы, заточенное, под углом, который он не менял сто шестьдесят лет: тридцать градусов к краю стола, остриём к пишущему. Чернильница — железо-галловые чернила, его рецепт, орешки из Прованса, купорос из Генуи, гуммиарабик — оттуда, откуда привозят, и запах — терпкий, кислотатый, с привкусом железа, — пропитал ему пальцы, и рукава, и жизнь, все сто шестьдесят лет, и будет пахнуть после — от Гроссбуха, от бумаги, от строк, которые он сейчас напишет.

Три строки.

Он сел. Стул качнулся — левая задняя ножка, на полпальца короче, он знал, он сам её укорачивал, нарочно, давно, чтобы не засиживаться, чтобы помнить, что сидишь, чтобы тело напоминало голове: ты здесь, ты на месте, и место — шаткое, и ты — шаткий, и всё — шаткое, и только цифры — ровные, если записать правильно.

Он написал:

Ла-Рошель.

Он опустил перо в чернильницу. Капля — на пергамент, рядом с буквой, не на букве, он не промахивался, никогда не промахивался, сто шестьдесят лет — и ни одной кляксы, и сейчас — не время начинать.

18 галер. 180 000 ливров. Капитан — бр. Гийом. Направление — запад. Точка назначения — на усмотрение капитана. Не следить.

Вторая строка.

Хорст. 120 000 ливров. 3 повозки, маркировка «сено». Контактное лицо — Рютгер фон Хёрст. Линия Гизеллы. Подпись Шимона — получена. Не проверять. Они не проверяют — мы не проверяем.

Третья.

Империя. 95 000 ливров. 14 сундуков, маркировка «оливковое масло».

Он остановился. Перо зависло над пергаментом. Капля набухла на кончике — тяжёлая, чёрная, готовая упасть.

За стеной — шаги. Ночной обход. Двое — по звуку: один тяжёлый, в сапогах с подковами, бьёт пяткой; второй — легче, мягче, башмаки без каблука, служка или оруженосец, — прошли мимо, факел чиркнул по стене, оранжевая полоса мелькнула в щели под дверью и ушла.

Он дописал:

Мельница — работает. Оливки — настоящие.

Капля упала. Не на строку — рядом, на поле. Чёрная клякса на жёлтом пергаменте. Первая за сто шестьдесят лет. Он посмотрел на неё и не стал вытирать.

Потом — ниже, мельче, словно прятал:

Горшок Розалии — в повозке №3.

Ещё ниже:

Мишель: цифры — это не всё.

Он закрыл Гроссбух. Встал. Стул качнулся и замер. Свеча дрогнула от движения — тени поехали по стенам хранилища, по полкам, по свиткам, по пустым местам на полках, откуда он уже забрал то, что нужно было забрать. Пустых мест было больше, чем полных. Хранилище выглядело как рот, из которого вырвали зубы — аккуратно, по одному, так что дёсны не кровоточат, но улыбка — уже не та.

Он надел плащ — белый, с тёмной нашлёпкой на левом плече, силуэтом того, что было. Как строка, из которой вычеркнули слова, но вмятина на пергаменте осталась.

Он вышел во двор — мул стоял и жевал, нашёл где-то нормальное сено, не прелое, и жевал с выражением существа, которому нет дела до падения орденов, конфискации казны и бегства в ночь, — есть сено, есть зубы, остальное не имеет мулиного значения.

— Вот, — сказал человек мулу. — Вот так и надо. Жуй. Пока есть что.

Он потрепал мула по шее. Ладонь — в чернилах, и на шее мула остался тёмный отпечаток: пять пальцев, ровных, без дрожи.

Потом он повернулся и пошёл обратно. Не к воротам — не к телеге — не к мулу. Обратно. В хранилище. К столу. К свече, которая оплыла ещё на четверть.

Сел на стул. Стул качнулся. Он открыл Гроссбух — не свой, другой, ежедневный, орденский, с расписками и пошлинами и долгами герцогов, — и начал писать. Очередную расписку. На двести ливров. На имя человека, который придёт утром и не получит ничего, потому что утром придут другие, и расписка станет бумагой, а бумага — мусором, а мусор — историей.

Почерк — ровный. Перо — тридцать градусов к краю стола. Свеча — горит. Крысы — бегут.

Он знал.

Он продолжал работать.

Глава 1. Шампань

Мишель. Ярмарка в Провене, 1285 год.

Фламандец вонял.

Не просто пах — вонял, густо, плотно, с вызовом, как воняют люди, которые считают мытьё блажью, а собственный запах — достоинством. Он стоял в трёх шагах от моего стола и торговался с кожевником за партию воловьих шкур, и при каждом взмахе руки — а руками он махал часто, потому что фламандцы торгуются всем телом — запах накатывал волной, удушающей, рыжей, кисло-сальной, и монеты на столе, казалось, тускнели от его дыхания.

Я дышал ртом. Считал.

Флорин стоил четырнадцать су и шесть денье. Генуэзский дукат — двенадцать и три. Безант — восемнадцать, если полновесный, четырнадцать — если обрезанный, а обрезанных в этом году было больше обычного, потому что в Константинополе сменился чеканщик и новый экономил на серебре, и это чувствовалось на ощупь — обрезанный безант легче на полтора грана, и если подбросить — звенит тоньше, суше, как черепок вместо колокола.

Фламандец ударил кожевника по рукам. Сделка. Кожевник выглядел как человек, которого ударили не по рукам, а по лицу, но сделка есть сделка — расступились, фламандец полез за кошелём, и кошель его был огромный, жёлтый, из свиной кожи, перетянутый ремнём, и он развязывал его долго, мусоля пальцы, и когда развязал — оттуда посыпались монеты, разные, все вперемешку: турецкие гроши, пражские гроши, стерлинги, фламандские двойные, и одна — я увидел — одна маленькая, тусклая, стёртая до невидимости, которую он бросил в общую кучу, но я уже поймал её глазом.

— Простите, — сказал я фламандцу.

Он обернулся. Лицо — красное, плоское, глаза в щёлках, нос — луковица, волосы — сосульки, и между сосульками — вша, живая, бурая, деловитая, ползущая к уху с выражением существа, занятого важным делом.

— Чего?

— Монета. Вот та, мелкая. Покажете?

— Это деньги, не монета.

— Это сиракузский тетрадрахм, — сказал я. — Чекан — третий век до Рождества. Серебро — чистое. Стоит больше, чем весь ваш кошель.

Фламандец моргнул. Кожевник моргнул. Оба посмотрели на монету, потом на меня, потом друг на друга.

— Врёт, — сказал фламандец.

— Может, и врёт, — сказал кожевник. — Но менялы обычно не врут про чужие монеты. Про свои — бывает. Про чужие — нет.

Фламандец поднёс её к глазам. Повертел. На серебре — женская голова в венке, и дельфин, и буквы, которые ни он, ни кожевник прочитать не могли, потому что буквы — греческие, а греческий в Провене знали трое: священник, который пил; аптекарь, который врал; и я, который считал.

— Сколько? — спросил фламандец.

— Восемь флоринов. Может, десять. Зависит от покупателя.

— Я дам четыре.

— Вы не покупаете. Вы продаёте. Мне.

Фламандец подумал. Я видел, как он думает — лоб двигается, как жернов, и из-под жернова сыплется не мука, а подозрение: почему меняла хочет купить? Что знает? Сколько можно выторговать?

Пока он думал — вша доползла до уха и исчезла внутри. Фламандец не заметил. Кожевник — заметил, и отодвинулся.

— Шесть, — сказал фламандец.

— Пять.

— Пять с половиной.

— Пять и четверть.

— По рукам.

Мы ударили. Рука фламандца была мокрая, горячая и пахла так же, как он весь, — кислым салом и честным трудом, если честный труд может так пахнуть, а в Провене он пах именно так, потому что Провен — не Флоренция, тут не притворяются.

Фламандец ушёл. Запах остался — висел над столом, как тень, медленно рассеивался. Монета осталась — тяжёлая, тёплая от фламандской ладони, с женской головой, которая смотрела вверх и вправо, как смотрят женщины, которые знают что-то, чего не знают мужчины, и не собираются рассказывать.

Тетрадрахм. Третий век до Рождества. Я повертел его в пальцах. Тысяча пятьсот лет — и не окислилось, и не потемнело, и лицо — различимо, и дельфин — различим, и буквы — Συρακοῦσια — различимы. Кто-то чеканил эту монету, когда Александр ещё не умер и Рим ещё не вырос, и этот кто-то давно мёртв, а монета — на моём столе, в Провене, рядом с турецкими грошами, и стоит больше их всех, и фламандец не знал, и кожевник не знал, и я — знал, и знание это — единственная валюта, которая не обесценивается.

Я убрал тетрадрахм в мешочек и привязал к поясу, под рубахой, у кожи — монета была тёплая.

* * *

Ярмарка в Провене открывалась в мае и работала до осени. Четыре месяца — лавки, прилавки, навесы, шатры, палатки, мешки, тюки, бочки, кадки, и между всем этим — люди, и люди — между людьми, и между людьми — запахи: шерсть, кожа, перец, шафран, корица, навоз, моча (красильщики, четвёртый ряд), дым, жир, пот, вино, прокисшее вино, прокисшее пиво, свежий хлеб, тухлая рыба и, поверх всего, — пыль. Меловая, белая, известняковая провенская пыль, которая лезла в нос, в глаза, в уши, оседала на монетах и делала их все одного цвета — серого, пыльного, мёртвого. К вечеру их приходилось протирать, чтобы отличить золото от серебра, серебро от меди, настоящее от поддельного.

Мой стол стоял у восточных ворот, между прилавком кожевника — того самого, который торговался с фламандцем, — и складом перца гемуэзца по имени Саландо, маленького, чёрного, вёрткого человека с глазами, которые считали быстрее моих, но видели другое: не курсы, а людей, не монеты, а карманы, и в каждом кармане — возможность, и в каждой возможности — процент.

— Мишель, — говорил Саландо каждое утро, открывая ставни, — ты сегодня менял не тому.

— Кому?

— Толстому с вошью. Ему не надо менять — ему надо работать. У него четыре телеги шерсти и ни одного покупателя. Завтра уедет. Без денег.

— Он купил у кожевника.

— Он купил у кожевника, потому что кожевник ему должен. А должен — потому что в прошлом году пил с ним в таверне и проспорил, а проспорил — потому что ставил на петушиные бои, а ставил — потому что петух был его. Петух — сдох. Но долг — остался. Мишель, в Провене не считай монеты. Считай петухов.

Саландо говорил много, быстро и на смеси провансальского с гемуэзским, от которой у нормального человека заворачивались уши, но я — привык, тринадцать лет рядом, тринадцать лет его перца, его советов и его дочери, Джованны, которая приходила по вторникам за сдачей

и смотрела на меня так, как смотрят на меня молодые женщины — с интересом, переходящим в расчёт. Джованна было семнадцать. Потом — двадцать два. Потом — двадцать шесть. Мне — всё время тридцать. Джованна заметила. Сказала отцу. Отец сказал: «Менялы не стареют, потому что не живут — считают, а счёт — это не жизнь, это арифметика, и арифметика не старит, как не старит камень: камень лежит, и ему всё равно.» Джованна не поверила, но замуж вышла за мясника, и мясник старел нормально, и Джованна, наверное, была довольна, хотя довольство — не моя область.

Я пересчитал дневную выручку. Тридцать два ливра, четырнадцать су. Минус аренда стола — два ливра. Минус перец Саландо (он угощал, но угощения в Провене не бывают бесплатными — через неделю попросит поменять ему партию венецианских цехинов по заниженному курсу, и я поменяю, потому что Саландо — сосед, а сосед на ярмарке дороже клиента). Минус тетрадрахм — пять с четвертью флоринов. Плюс тетрадрахм — рыночная стоимость десять флоринов, прибыль — четыре и три четверти. Итого: хороший день.

Я закрыл лавку. Сложил весы в мешок — бархатный, старый, потёртый, с моими инициалами, вышитыми кем-то, кого я не помню, нитками, которые выцвели до бесцветности. Убрал гирьки — каждую в своё гнездо, по весу, от большей к меньшей, и гнёзда — в деревянном ящичке, который делал столяр в Бар-сюр-Об двадцать пять лет назад, и столяр умер, и ящичек — нет, и это нормально, потому что ящички переживают столяров, как Гроссбухи переживают бухгалтеров, как монеты переживают менял, как всё, что сделано руками, переживает руки.

Гирьки уложены. Весы — в мешок. Мешок — под стол. Стол — накрыть холстиной. Холстину — придавить камнем. Камень — от Саландо, он притащил с реки, круглый, гладкий, тяжёлый, и сказал: «Держи, Мишель, это для холстины, чтобы не сдуло, а то в прошлом году у тебя сдуло, и весь рынок три дня искал твою холстину, и нашли на крыше у шорника, и шорник решил, что это знак свыше, и повесил её на стену, и молился, а холстина — грязная, в пятнах от чернил, и шорник молился пятнам, потому что люди молятся чему попало, особенно в Провене.»

Камень — на холстину. Всё.

Я пошёл домой. Дом — десять минут от рынка, вверх по холму, мимо церкви Сен-Кириас — старой, приземистой, с колокольной, в которой жили голуби, и голуби гадили на ступени, и на ступенях сидел нищий, каждый день один и тот же, с язвой на левой ноге, которая не заживала и не убивала, а просто была — как нищий, как ступени, как голуби. Нищий протянул руку. Я бросил денье. Он не поблагодарил — мы давно прошли стадию благодарностей: он протягивал, я бросал, он ловил, и между протягиванием и ловлей не было ничего, кроме монеты в воздухе, и монета в воздухе — красивая, если поймать свет, и нищий это знал, потому что подбрасывал мой денье и ловил снова, и подбрасывал, и ловил, и улыбался, и язва на ноге блестела в закатном свете.

Дом — маленький, каменный, с одной комнатой и чердаком. Чердак я не использовал — там жили мыши, и мыши не платили аренду, и я не требовал, потому что мыши — единственные жильцы, которые не спрашивают, почему у хозяина нет седых волос. На двери — замок, железный, ржавый, с ключом, который поворачивался только вправо и только на два с половиной оборота — Аарон, подумал бы я, если бы знал Аарона, но я ещё не знал Аарона, и замок поворачивался на два с половиной оборота просто потому что слесарь в Провене был пьян, когда делал его, и пьян — когда отдавал, и пьян — когда брал деньги, и я это знал, потому что платил ему обрезанным безантом, а он не заметил, а значит — был очень пьян.

В комнате — стол, стул, тюфяк, свеча. На столе — пергамент, чернильница, перо. На пергаменте — таблица курсов. Моя. Четвёртая. Первые три — в Ланьи, в Баре, в Труа, спрятаны в щелях, которые никто не найдёт, потому что никто не ищет. Четвёртая — здесь, в Провене, и я её дописывал каждый вечер: курсы, изменения, примечания. «Флорин — стабилен.

Дукат — минус два грана. Безант — обрезают чаще. Стерлинг — без изменений. Англичане — без изменений. Англичане никогда — без изменений.»

Я сел. Зажёг свечу. Написал:

12 мая. Выручка — 32 ливра 14 су. Тетрадрахм — приобретён (5¼ фл., оценка — 10 фл., прибыль — 4¾ фл.). Фламандец — с вошью. Кожевник — с долгом. Саландо — с советом. Нищий — с язвой. День — обыкновенный.

Обыкновенный. Как четыре тысячи дней до него. Как четыре тысячи дней после — если повезёт, если не заметят, если не спросят.

Я задул свечу. Лёг на тюфяк. Тюфяк пах соломой и мышами. Мыши скреблись на чердаке — тихо, привычно, как скребутся мыши, которые не боятся, потому что хозяин не ставит мышеловок. Не из доброты. Из лени. Или из того чувства, которому я не знаю названия: когда живёшь один шестьдесят три года и они — единственные, кто с тобой в доме, и ты с ними в доме, и между вами — перемирие, невысказанное, но настоящее, прочнее любого договора, потому что договор можно нарушить, а перемирие с мышами — нельзя: они уйдут, и дом станет пустым, и пустота — хуже мышей.

Четыре тысячи шестьсот двадцать один день в Провене. Двадцать лет. Пора уезжать. Через год — крайний срок. Джованна уже заметила. Саландо — скоро заметит. Нищий — не заметит, у нищего другие заботы, но священник в Сен-Кириас — может, потому что священники замечают всё, что не укладывается в порядок, а меняла без седых волос — не укладывается.

Пятый город. Куда? Лион — далеко. Руан — мокро. Монпелье — жарко. Париж — дорого. Кёльн — по-немецки, а по-немецки я считаю хуже, чем по-французски, не потому что язык труднее, а потому что немецкие монеты — тяжелее, и пальцы устают быстрее, а уставшие пальцы — неточные, а неточность — враг.

Я засыпал. Мыши скреблись. Завтра — снова ярмарка. Снова фламандцы, гемуэзцы, флорентийцы. Снова запах шерсти и перца. Снова курсы. Снова — обыкновенный день.

Он пришёл через неделю.

* * *

Саландо увидел его первым.

— Мишель, — сказал он, прищурившись. — К тебе.

Я поднял голову от весов — взвешивал пармские дукаты, партия в двадцать штук, и три из двадцати были легче на зерно ячменя, и я откладывал их влево, а Саландо следил, и когда я откладывал — кивал, потому что Саландо понимал вес, как я понимал курс: нутром, до объяснений.

Он стоял у края прилавка. Не за столом — у края, как стоят те, кто хочет подойти, но ждёт. Ждут — вежливые. Или те, кто наблюдает. Или — и те, и другие.

Плащ — серый, дорожный, без вышивки. Ткань — хорошая: не фламандская шерсть, не прованская бумазая, что-то другое, чего я не мог определить, а я определяю ткани на глаз, двадцать лет рядом с кожевником и суконщиком, не научиться — невозможно. Эта ткань была — старая. Не поношенная, а старая, как бывают старыми монеты, которые чеканили давно и которые несут на себе время не как грязь, а как патину: благородно, с достоинством.

Сапоги — стоптанные. Но чиненые. И чинены не сапожником — сами, вручную, дратвой, грубо, неумело, стежки — кривые, неровные, как забор, который ставил пьяный. Я посмотрел на стежки и подумал: этот человек не умеет работать руками. Но пытается. Как Аарон, подумал бы я, если бы знал Аарона.

Руки — крупные. Загорелые. Ногти — чистые, обкусанные, не обстриженные. Между пальцами — вьёвшаяся темнота: не грязь, а что-то иное, что-то стойкое, многолетнее. Земля? Нет. Я потом узнаю: полынь. Полынь вьедается в кожу, если растирать её между пальцами, а Шимон растирал — привычка, тысячи лет привычка, — срывал на обочине и растирал, и

запах оставался, и пальцы темнели, и темнота не отмывалась, потому что полынь — упрямая трава, упрямее мыла, упрямее времени.

— Менять? — спросил я.

Он сел. Не спросив разрешения — но и не нагло. Сел, как опускаются на камень у дороги: привычно, спокойно, с ощущением, что камень — его, и дорога — его, и вообще всё — его, не по праву владения, а по праву длительности.

Положил монету на стол. Мягко. Точно. Как кладут фигуру на шахматную доску.

Генуэзский дукат. Полновесный. Чекан позапрошлогодний. Серебро — в норме. Я определил на ощупь, не взвешивая, — шестьдесят три года практики.

— Хорошая монета, — сказал я.

— Я знаю, — сказал он. — Я тебя не за монетой.

* * *

Саландо прислушивался. Он всегда прислушивался — ухо генуэзца устроено так, что улавливает слово «деньги» сквозь три стены и рыночный гул. Но сейчас слова «деньги» не было, и Саландо растерялся, и от растерянности начал перебирать перец — горошину за горошиной, чёрные, сморщенные, с перечной пылью на пальцах.

— Менялы не ведут бесед, — сказал я. — Менялы меняют.

— Давно меняешь?

— Двадцать лет.

— А до этого?

— Менял в другом городе.

Он говорил на *langue d'oïl*, но акцент плыл — не южный, не северный, не итальянский. Что-то, чему я не мог найти место на карте. Как монета без чекана — металл есть, а происхождение — нет.

— У вас много вопросов для человека с одной монетой, — сказал я.

— У тебя мало ответов для человека с четырьмя таблицами.

Я перестал дышать. На полсекунды — считал: полсекунды, двадцать шесть ударов сердца в минуту ниже обычного, значит — испуг, значит — он сказал что-то, чего не мог знать, значит...

— Какими таблицами? — Голос ровный. Монеты — на столе. Руки — на виду. Всё — на виду. Кроме четырёх пергаментов, спрятанных в четырёх городах, в четырёх щелях, которые...

— Ланьи — за печкой, в трактире «Золотой баран», третий камень слева от дымохода, — сказал он. — Бар-сюр-Об — под половицей в доме вдовы Маго, которая умерла в 1271-м и дом стоит пустой. Труа — в стене собора, за отошедшей плиткой, северный неф, четвёртый ряд. Провен — при тебе, дома, на столе.

Саландо уронил горошину. Она покатила по прилавку, упала на землю, и рыжий кот — тощий, одноглазый, живший под прилавком кожевника — прыгнул на неё, понюхал, чихнул и ушёл.

— Кто вы? — спросил я.

— Человек, который тоже не стареет. Только дольше.

Он забрал свой дукат. Покрутил между пальцами — быстро, ловко, как фокусник, и монета мелькала, и свет на ней мелькал, и я следил за монетой, потому что следить за монетой — моя работа, и пока я слежу — я работаю, а пока я работаю — я не боюсь.

— Мне три тысячи лет, — сказал он. — И лицо — одно. Пойдём, покажу людей, у которых та же проблема.

Саландо кашлянул. Громко, фальшиво, с перечной пылью — закашлялся по-настоящему, чихнул, выругался по-генуэзски. Кот под прилавком вздрогнул и убежал. Фламандец — другой, не тот, с вошью, — обернулся. Мальчишка, продававший воду в глиняных кружках, остановился и смотрел.

— Мишель, — сказал Саландо, вытирая нос рукавом, — если этот человек обещает тебе бессмертие — не верь. Мне обещали в Генуе. Я купил настойку за два флорина. Простоял в нужнике три дня. Бессмертие — враньё. Нужник — правда.

— Он не обещает, — сказал я. — Он констатирует.

Саландо посмотрел на незнакомца. Незнакомец посмотрел на Саландо. Саландо — невысокий, вёрткий, с глазами, которые считают карманы, — и незнакомец — высокий, обветренный, с глазами, которые считают века. Между ними — прилавок с перцем, кот, который уже вернулся, и рыночный гул, и пыль, и мухи, и запахи, и жизнь, обыкновенная провенская жизнь, которая через десять минут перестанет быть моей.

— Куда? — спросил я.

— Сначала — на восток. Акко. Нужен человек, который считает.

— Всем нужен человек, который считает. Редко кто за этим приходит.

— Потому что редко кто умеет. — Он встал. — Собирайся. Возьми то, что не можешь оставить.

Я посмотрел на стол. Весы, гири, чернильница, перо. Мешочек с дневной выручкой. Тетрадрахм на поясе, под рубахой. Холстина. Камень на холстине — Саландов камень, речной, гладкий.

— Мишель, — сказал Саландо. — Ты уезжаешь?

— Уезжаю.

— А стол?

— Возьми.

— А весы?

— Тоже.

— А долг?

— Какой долг?

— Ты мне должен за три мешка перца. Ноябрь прошлого года. Я угощал. Но угощал — в долг. В Генуе нет бесплатного перца, Мишель. В Генуе нет ничего бесплатного. Даже воздух — и тот в рассрочку.

Я достал из мешочка стерлинг. Положил на прилавок. Саландо посмотрел.

— Это больше, чем три мешка.

— Это за тринадцать лет.

Саландо взял стерлинг. Подбросил. Поймал. Посмотрел на меня — маленький, чёрный, вёрткий, с перечной пылью на пальцах и выражением человека, который только что понял, что теряет соседа, а сосед на ярмарке — дороже родственника, потому что родственник — наследует, а сосед — помогает.

— Мишель, — сказал он тише. — Девочка. Джованна. Она спрашивала.

— Она вышла за мясника.

— Мясник — дурак. Но стареет. Это она ценит. — Он спрятал стерлинг. — Иди. Но если тот человек тебя обманет — возвращайся. Стол будет стоять. Я его не продам. Я его сдам, но не продам. Разница — в рассрочке.

Я взял пергамент. Свернул в трубку. Перевязал бечёвкой. Сунул за пазуху. Чернильницу — в карман. Перо — за ухо. Тетрадрахм — на поясе. Остальное — осталось.

Незнакомец ждал. Стоял у восточных ворот рынка и смотрел на меня, как смотрят на человека, которого долго искали и наконец нашли — без радости, без нетерпения, с выражением завершённости: вот ты, вот я, вот дорога, пойдём.

За воротами — холм, и за холмом — дорога, белая от известняка, и на дороге — телеги, паломники, нищие, собаки, и пыль, и солнце, и воздух, который пахнет не рынком, а полем — травой, навозом, горячей землёй, и ещё — чем-то горьким, сухим, незнакомым.

— Чем пахнет? — спросил я.

— Полынь, — сказал он. — Растёт у обочины. Везде растёт. Привыкнешь.

Мы пошли.

* * *

Мы шли четыре дня до Марселя. Он шёл впереди — длинный, лёгкий шаг, стоптанные сапоги с кривыми стежками, плащ болтается на ходу. Я — за ним, короче, быстрее, потому что его один шаг — мой полтора, и я считал шаги, чтобы не думать, зачем иду. На четырёхсотом шаге — передумывал. На восьмисотом — снова решался. На тысяча двухсотом — переставал считать, потому что дорога шла в гору, и дыхания не хватало на шаги и числа одновременно.

Он не рассказывал. Не объяснял. Шёл, молчал, срывал полынь у обочины, растирал между пальцами, нюхал. Иногда — оборачивался, проверяя, иду ли. Я шёл. Он кивал. Шёл дальше.

На привалах — говорил. Мало. Кусками.

Первый привал — деревня Санс, таверна, хлеб с луком, кислое вино. За соседним столом — паломник, тощий, в рваной хламиде, со скорлупой гребешка на шляпе, из Компостелы или в Компостелу, не разберёшь, паломники все одинаковые — грязные, голодные, с выражением людей, которые ищут Бога и не могут найти дорогу. Паломник хлебал похлёбку и разговаривал с мухой, которая села ему на ложку. «Иди, — говорил он мухе, — это моё, а твоё — на навозе, у конюшни, иди туда, там тебе лучше.» Муха не уходила. Паломник доел вместе с мухой.

— Шимон, — сказал незнакомец. — Меня зовут Шимон. Это не здешнее имя.

— Я заметил.

— Оно из языка, которого больше нет. — Он отломил хлеб. — Как и я.

— Вас много?

— Мало. — Хлеб был жёсткий, он размачивал в вине. — Семеро, считая тебя. Нет — восьмеро, считая Бертрана. Но Бертран — при тамплиерах. Давно. Его трудно считать, потому что он сам себя не считает — он считает их. Его деньги.

— Их деньги — это чьи деньги?

— Вот, — сказал Шимон. — Правильный вопрос. Именно поэтому — Акко. Поедешь, посмотришь, посчитаешь. Ответишь.

Паломник за соседним столом допил похлёбку, перекрестился, поблагодарил муху и ушёл. На столе осталось пятно от ложки — круглое, мутное, — и хозяйка таверны, грузная, в сальном переднике, подошла и вытерла, и стол стал чистым, и пятна не стало, и паломника не стало, и мухи — тоже, и жизнь продолжилась, как продолжается всегда, когда кто-то уходит.

Второй привал — Валанс, берег Роны. Река — широкая, мутная, жёлтая, как мутное жёлтое вино, которое продавали на берегу за два денье кружку, и вино было хуже реки, потому что реку хотя бы не разбавляли. На берегу — прачки, и от воды несло щёлоком и мокрой шерстью, и прачки пели, и пение было фальшивое, и ритм — неровный, но голоса — сильные, и от голосов река казалась шире, а берег — дальше.

— Не привязывайся, — сказал Шимон. Он сидел на камне и смотрел на реку, и полынь в его пальцах пахла резче обычного — он сорвал свежую, молодую, с серебристым пушком на листьях. — Ни к кому. Они смертные. Все.

— А Бертран?

— Бертран — нет. Но к Бертрану тоже не привязывайся. Он давно при тамплиерах. Он думает, что он — тамплиер. Это опаснее, чем смертность.

Прачка ближайшая — молодая, рыжая, с руками, красными от щёлока, — подняла голову, посмотрела на нас, ничего не увидела, вернулась к стирке. Мы были двое мужчин на берегу реки. Ничего особенного. Два камня у дороги.

— Почему опаснее? — спросил я.

— Потому что смертный — умрёт. Ты оплачешь и пойдёшь дальше. А тот, кто думает, что он часть чего-то, — умрёт вместе с этим «чем-то». Даже если сам — бессмертный. Потому

что бессмертие — не в теле. Тело — ерунда. Бессмертие — в решении жить. А решение — можно изменить.

Прачки пели. Рона текла. Запах щёлока и полыни.

Я не понял. Через двадцать два года — пойму.

Третий привал — Экс, мост через Арк, на мосту — мальчишка, который ловил рыбу удочкой без крючка. Просто — палка, бечёвка, бечёвка в воде. Без крючка. Без наживки. Я остановился.

— Без крючка не поймает, — сказал я.

— Знаю, — сказал мальчишка. Ему было лет десять, чумазый, босой, с ссадиной на колене, свежей, розовой. — Но если с крючком — поймаю, и надо чистить, и жарить, и есть, и потом снова ловить. А без крючка — сижу и сижу. Никто не мешает.

— Логика безупречная, — сказал Шимон.

— Это не логика, — сказал мальчишка. — Это рыбалка.

Мы пошли дальше. Мальчишка остался на мосту. Палка в руке, бечёвка в воде, рыба — не ловится, потому что крючка нет, и мальчишка — не расстраивается, потому что цели нет. Я оглянулся через сто шагов — он сидел так же, и палка — так же, и река — так же, и я подумал, что этот мальчишка понял про жизнь больше, чем я за шестьдесят три года, и это было обидно, но обида — не моя валюта.

На четвёртый день — Марсель. Запах рыбы, соли, смолы. Порт. Корабли. Крики чаек и грузчиков, и крики эти — неотличимы, потому что чайки кричат от голода, и грузчики — от голода, и голод — один, и крик — один, и разница — только в перьях.

Шимон купил место на торговом судне до Кипра. Двадцать ливров. Я посчитал — дорого. Он не торговался. Я удивился.

— Ты не торгуешься? — спросил я.

— Три тысячи лет, — сказал он. — Жизнь коротка.

И поднялся по трапу, и я — за ним, и трап качался, и доски были мокрые, и пахло дёгтем и тухлой рыбой, и чайка — белая, наглая — села мне на плечо, и я её стряхнул, и она закричала, и я подумал: в этом крике больше смысла, чем во всех моих таблицах курсов, потому что чайка кричит от того, что ей нужно, а я считаю от того, что мне больше нечего.

Корабль отчалил. Марсель — уменьшался. Провен — остался. Стол — остался. Весы — остались. Камень Саландо — на холстине. Нищий — на ступенях. Кот — под прилавком. Голуби — на колокольне. Мыши — на чердаке.

Я стоял на палубе и считал: шестьдесят три года. Четыре города. Один пергамент за пазухой. Одна чернильница в кармане. Одно перо за ухом. Один тетрадрахм на поясе.

И один человек впереди — пахнувший полынью, с кривыми стежками на сапогах, — который сказал «три тысячи» и не соврал, потому что врущий не называет непроверяемых чисел.

Море качало. Я блевал. Он стоял рядом и смотрел.

— Считай волны, — сказал он.

— Волны... — я перегнулся через борт, и чайка, та самая или другая, снова села мне на плечо, и на этот раз я её не стряхнул, потому что руки были заняты бортом, и желудком, и волнами, и всем сразу, — ...нельзя посчитать.

— Вот именно, — сказал Шимон. — Привыкай.

Глава 2. Акко

Мишель. Святая земля, лето 1291 года.

Акко я учуял раньше, чем увидел.

Из-за горизонта потянуло сладким и гнилым — одновременно, как тянет от фруктов, которые перележали на солнце: сначала — сладость, потом — тошнота, потом — понимание, что сладость и тошнота — одно и то же, только на разных стадиях. Капитан, рыжий киприот с переломанным носом и татуировкой на шее, которая изображала то ли рыбу, то ли женщину (в зависимости от того, поворачивал он голову или нет), сплюнул за борт.

— Акко, — сказал он. — Нюхай. Это — последний христианский город на Святой земле. Скоро не будет и его.

— Откуда знаете?

— Знаю. — Он сплюнул ещё раз. — Я сюда хожу двадцать лет. Каждый раз — хуже. Каждый раз — меньше народу на стенах. Каждый раз — больше крыс на причале. Крысы уходят последними. Когда крысы уйдут — всё.

Я посмотрел на причал. Крысы были. Бежали по канатам, по брёвнам, между ногами грузчиков — маленькие, серые, деловитые. Грузчики не обращали внимания — таскали мешки, нехотя, с выражением людей, которые таскают мешки не потому что нужно, а потому что больше нечего.

Шимон стоял на носу и смотрел на город. Лицо — закрытое, как ставня. Я к тому времени уже две недели плыл с ним и научился различать: когда он молчал и лицо было открытым — он думал; когда молчал и лицо было закрытым — он помнил. Помнить — хуже, чем думать. Думать — это про будущее, а будущее — можно изменить. Помнить — это про прошлое, а прошлое — нет.

— Ты здесь был? — спросил я.

— Давно.

— Когда?

— Когда стены были новые. — Пауза. — Они были белые. Сейчас — серые. Камень стареет. Стены — стареют. Города — стареют. Я — нет. Это несправедливо, но справедливость — не моя область.

Мы сошли по трапу. Трап был мокрый, доски — скользкие, и впереди меня шёл монах-францисканец — маленький, круглый, в бурой рясе, подвязанной верёвкой, — и он поскользнулся, и схватился за верёвку, но верёвка была его собственная, и он повис на самом себе, и потом упал, и расшиб колено, и выругался так, что чайки замолчали. Грузчик помог ему встать. Монах перекрестился, поблагодарил грузчика и спросил, где тут ближайшая таверна. Грузчик показал. Монах поковылял. Колено кровоточило — кровь капала на камни причала, маленькие красные пятна на сером камне, и крыса подбежала к одному пятну, понюхала и убежала: кровь монаха крысу не устроила.

Акко — тесный. Улицы — узкие, кривые, между домами — щели, в которые протиснуться можно только боком, и в щелях — тень, и в тени — люди: сидят, лежат, спят, торгуют, просят, ругаются. Запахи — слоями: внизу — нечистоты, канава посередине улицы, в канаве — всё, что выливают из окон, и ходить нужно у стен, прижимаясь, иначе — зальёт; посередине — еда: жарят на углях мясо, и дым — жирный, острый, с перцем и кориандром; сверху — ладан из церквей, которых тут на каждом углу, и ладан смешивается с нечистотами и мясным дымом, и получается запах, который нельзя описать, но можно запомнить, и я запомнил, навсегда, и через четыреста лет, в Париже, когда буду проходить мимо бойни на правом берегу, — вспомню, и левый глаз дёрнется.

Шимон вёл меня молча, не оглядываясь, через улицы, переулки, арки, проходы. Он знал дорогу. Он знал этот город, как знают тело: не по карте, а по памяти ног, которые ходили здесь, когда стены были белые.

Мы прошли мимо кузницы — жар ударил в лицо, и кузнец — огромный, чёрный от сажи, с предплечьями толще моих бёдер — бил молотом по наковальне, и каждый удар звенел, и звон отражался от стен, и казалось, что весь город дрожит. Кузнец ковал подкову. Обычную лошадиную подкову. Посреди города, который скоро падёт, — человек ковал подкову, потому что лошадь — хромает, и лошади всё равно, что мамелюки стоят за холмами, лошади нужна подкова, и кузнецу нужна работа, и между подковой и мамелюками — мир, в котором подкова — важнее, потому что подкова — сейчас, а мамелюки — потом, и «потом» не ковётся.

Мы прошли мимо таверны — той, куда ушёл монах. Через открытую дверь — шум, смех, запах вина и чеснока. Монах сидел в углу и пил, и колено — перевязано тряпкой, и тряпка — красная от крови, и монах — красный от вина, и всё — красное, и весёлое, и обречённое.

Мы прошли мимо колодца. У колодца — женщина с кувшином. Молодая, смуглая, в белом платке, который закрывал волосы, но не лицо, и лицо было из тех, которые не запоминаешь — обычное, правильное, без черт, которые цепляют, — но руки я запомнил: тонкие, смуглые, с потрескавшимися от воды пальцами, и она набирала воду, и кувшин тяжелел, и руки напрягались, и жилы на запястьях вздувались, и она тянула, и кувшин поднимался, и вода плескала, и капли — на камень, на пыль, на её босые ступни, — и ступни были в пыли, и капли оставляли на пыли тёмные точки, и точки высыхали в секунду, потому что Акко — жара, всегда жара, даже в мае.

— Запомни, — сказал Шимон.

— Что?

— Это. — Он повёл рукой. — Кузнеца, таверну, колодец. Женщину. Подкову. Через два месяца ничего не будет. Запомни, каким было.

Я запомнил. Не потому что он попросил — потому что числа не помогали. Числа — потом, в Гроссбухе, «убыток: неисчислим». А сейчас — подкова, вода, босые ступни с каплями. Это — не цифры. Это — то, чему нет столбца.

* * *

Тампль в Акко стоял у моря — приземистый, серый, квадратный, с башнями по углам, и от моря к стенам тянуло солью и водорослями, и к соли примешивалось что-то ржавое — железо? кровь? — я не мог определить, и потом определил: ржавчина. Цепи, которыми крепили корабли к причалу, ржавели, и ржавчина сыпалась в воду, и вода у причала была бурая, и в бурой воде плавала рыба — серебристая, мелкая, равнодушная к цепям, к ржавчине, к тамплиерам и к мамелюкам.

У ворот — двое часовых. Белые плащи, красные кресты. Один — молодой, крупный, с прыщом на подбородке, который он ковырял пальцем в латной перчатке, и перчатка — не приспособлена для ковыряния прыщей, и прыщ — не поддавался, и часовой — злился, и от злости стоял криво, и копьё — криво, и тень от копья — кривая полоса на камне. Второй — старый, с бородой, в которой застряли крошки хлеба — три, я посчитал, — и он спал стоя, и борода покачивалась в такт его дыханию, и крошки покачивались в бороде.

Шимон подошёл. Сказал что-то молодому — тихо, быстро, по-французски, но с тем акцентом, который я к тому времени научился слышать, но не определять. Молодой выпрямился. Перестал ковырять прыщ. Посмотрел на нас. Кивнул. Пропустил.

Мы вошли.

Двор — вымощенный камнем, с колодцем посередине, и у колодца — конь, пьющий из корыта. Конь — огромный, боевой, серый в яблоках, и от него пахло потом и кожей, и седло на перекладине рядом — тяжёлое, рыцарское, с потёртостями в тех местах, где ноги трутся при езде. Конюх — мальчишка, лет двенадцать, босой, чумазый — чистил коня щёткой, и конь

стоял смиренно, и только ухом дёргал, когда щётка задевала шрам на крупе — старый, белый, длинный, от сабли или от стрелы.

— Шимон, — сказал мальчишка, не оборачиваясь. — Привёл?

— Привёл.

— Наверху. В башне. Считает.

Мальчишка знал Шимона. Мальчишка — двенадцать лет, босой, с щёткой — знал. И сказал «наверху» с интонацией, с которой говорят о начальстве — не о высоком, а о привычном: том, которое всегда наверху, как солнце или запах с кухни.

Мы поднялись по лестнице — каменной, винтовой, узкой, стены — мокрые, в стенах — бойницы, и через бойницы — полосы света, косые, пыльные, и в каждой полосе — мухи, и мухи вращались в свету, как монеты в воздухе: бессмысленно, красиво.

Второй этаж. Дверь — дубовая, тяжёлая, с кольцом вместо ручки. Шимон толкнул.

* * *

Комната была низкая. Потолок — на ладонь выше Шимоновой головы, и он наклонился, входя, привычным жестом, и я подумал: он бывал здесь раньше, и потолок был таким же низким, и он наклонялся так же.

Узкие окна-бойницы. Через них — солёный ветер, и ветер бился о полки, уставленные свитками. Свитки — сотни, тысячи, скрученные, перевязанные, уложенные, как поленья в поленнице, плотно, ровно, без зазоров. Запах — пергамент, чернила, пыль, соль. Бухгалтерия, перемешанная с морем. Я потом узнаю этот запах — буду узнавать восемьсот лет, в каждом хранилище, в каждом архиве, в каждом подвале. Запах записанного.

За столом — человек.

Стол — длинный, дубовый, в пятнах чернил. Пятна — старые и свежие: старые — бурые, впитавшиеся в дерево; свежие — чёрные, блестящие, не высохшие. По пятнам можно было читать его историю, как по годовым кольцам — историю дерева: вот этот год был щедрый — много пятен, много работы; вот этот — скудный, пятен мало. Стол работал дольше человека. Стол — помнил больше.

Человек сидел и писал. Не поднял головы, когда мы вошли, — перо двигалось по пергаменту ровно, без остановок, как движется нож по маслу или река по руслу: без усилия, по привычке, по природе. Оно лежало в пальцах — не зажатое, а уложенное, под углом, который я потом запомню и буду помнить восемьсот лет: тридцать градусов к краю стола, остриём к пишущему.

Плащ — белый, без креста, и я потом узнаю почему: Бертран не был рыцарем, не принимал обетов, не носил крест, потому что крест — это символ, а символы привлекают внимание, а внимание — опасно. В Тампле все носят белое, и не носить — привлечь внимание, а носить без креста — не привлечь. Разница — в нашивке. Бертран жил в этой разнице сто пятьдесят лет.

Волосы — тёмные, без седины. Лицо — когда поднял, наконец, через минуту, через вечность — лицо неопределимого возраста. Не молодое и не старое. Лицо, которое решило не стареть и сдержало обещание, и от этого — гладкое, спокойное, но с глазами, которые выдавали: глаза были старше лица. Старше стола. Старше свитков. Глаза смотрели на тебя и одновременно куда-то сквозь тебя, и за тобой — сквозь стену, сквозь башню, сквозь время — они видели что-то, чего не видел ты, и не собирались рассказывать.

— Бертран, — сказал Шимон. — Вот. Привёл.

— Считаешь? — спросил он.

Голос — ровный. Как почерк.

— Всегда.

— Покажи.

Он взял со стола свиток — не глядя, рука знала, где что лежит, как знает рука пианиста, где какая клавиша, — развернул, протянул мне. Я взял. Пальцы его — в чернилах, и чернила перешли на мой палец, и я почувствовал: кислые, с привкусом железа, тёплые от его руки.

Столбцы. Расход гарнизона за июнь. Провиант: мука — 40 мешков, солонина — 12 бочек, вино — 8 бочек, масло — 3 кувшина. Фураж: овёс — 60 мешков, сено — не указано (прочерк, и прочерк — аккуратный, не лень, а «нет данных»). Вооружение: стрелы — 12 000, болты — 3 000, смола — 2 бочки.

Я пробежал глазами. Пальцы — на пергаменте, и пергамент — телячий, тёплый, с чуть заметной шершавостью, и в этой шершавости — жизнь телёнка, которого убили ради того, чтобы я мог прочитать, сколько стрел истратил гарнизон. Телёнок не знал. Гарнизон — тоже.

— Стрелы — завышено, — сказал я.

Бертран не шевельнулся. Перо — в руке, на весу.

— Почему?

— Двенадцать тысяч за месяц. Гарнизон — двести шестьдесят человек, я посчитал на стене. По три стрелы в день — двадцать три тысячи четыреста. По одной — семь тысяч восемьсот. Двенадцать тысяч — полторы на человека в день. Полторы — это не учения и не бой. Это — середина. Середина бывает, когда кто-то стреляет, а кто-то — нет. Или когда кто-то стреляет, а кто-то — ворует. Стрелы — хороший товар. Наконечник — железный. Железо — в цене.

За бойницей кричала чайка. Длинный, рваный крик — как будто у чайки тоже не сходил баланс.

Бертран посмотрел на Шимона.

— Годится, — сказал он.

— Я же сказал.

— Ты много чего говоришь. — Бертран забрал свиток. Свернул — одним движением, привычным, как дыхание. Положил обратно — на своё место, рука знала. — Садись. Стул — там.

Стул стоял у стены. Деревянный, тяжёлый, с перекладиной на спинке, на которой кто-то вырезал ножом инициалы — G. T. — мелко, криво, давно. Я сел. Стул качнулся — влево, назад, снова влево.

— Ножка, — сказал я. — Левая задняя. Короче на полпальца.

— Я знаю, — сказал Бертран. — Я её укоротил.

— Зачем?

— Когда стул шатается — помнишь, что сидишь.

Он вернулся к свитку. Перо — тридцать градусов, чернила — кислые, почерк — ровный. За бойницей — море, солнце, чайка. В комнате — пыль, свитки, запах пергамента. На стуле — я.

Это была первая вещь, которую Бертран мне сказал. Вторую он скажет через три года. Третью — через шесть. Каждая — дороже Гроссбуха.

— Чернила — свои, — добавил он, не поднимая головы. — Мои кончаются. И не трогай левую стопку — это для Парижа.

Левая стопка. Высокая, ровная, перевязанная бечёвкой. Я потом узнаю, что в ней — не расход гарнизона. В ней — система. Чеки, переводы, кредиты. Вся финансовая архитектура ордена — в одной стопке, на одном столе, в одной комнате, в одной башне, в одном городе, который через два месяца — сгорит.

Но это — через два месяца. А сейчас — стул шатается, чайка кричит, и Бертран пишет, и перо его — ровное, и чернила — кислые, и я сижу рядом, и мне — хорошо.

Хорошо — неточное слово. В Гроссбухе нет графы «хорошо». Есть «приход», есть «расход», есть «сальдо». «Хорошо» — не сальдо. «Хорошо» — это когда сидишь на шатком стуле

рядом с человеком, который не поднимает головы, и не разговаривает, и не объясняет, и пишет, и ты — рядом, и этого достаточно.

Достаточно — тоже неточное слово. Но других — нет.

* * *

Три месяца я считал.

Каждое утро — подъём с рассветом, и рассвет в Акко — быстрый, резкий, без прелюдий: темнота, потом — полоса, потом — удар света, и всё — день, и день в Акко начинался с крика муэдзина за стеной, и с крика петуха во дворе, и петух кричал раньше муэдзина, и это злило часового на башне, который был францисканцем и считал, что первый утренний звук должен быть христианским, а петух — не считается, потому что у петуха нет конфессии.

— У петуха есть Бог, — сказал ему Бертран однажды, когда часовой пожаловался. — Бог петуха — зерно. Зерно — есть. Значит, Бог петуха — реальнее вашего. Идите на пост.

Часовой ушёл. Петух остался. Муэдзин — тоже.

Я сидел за столом и считал: расход провианта — мешки, бочки, кувшины. Приход пошлин — от торговцев, от паломников, от тех, кто проходил через городские ворота и платил за проход. Баланс гарнизона — жалованье, которое не выплачивали третий месяц, и солдаты ходили злые, и злость их была осязаемая — как запах, как цвет: серо-жёлтая злость людей, которым должны, но не отдают, и которые не могут уйти, потому что за стенами — хуже.

Бертран сидел напротив — через стол, так что наши пергаменты почти соприкасались, и иногда — соприкасались, и чернила с его свитка пачкали мой, и с моего — его, и наши записи переплетались краями, и это было неправильно с точки зрения бухгалтерии, и правильно с точки зрения — чего? Я не знал. Я потом буду знать. Когда его не станет — буду знать.

* * *

Через месяц я узнал двор.

Конюх — тот мальчишка, Жан-Пьер, двенадцать лет, босой, с руками, вечно в лошадином поту, который сох и оставлял на коже белый налёт, как соль на камне. Он знал каждую лошадь по имени, по норову и по запаху, и лошади знали его, и когда он входил в конюшню — перестали бить копытами и дышали тише, и это было единственное тихое место в Акко — конюшня, где мальчик и лошади доверяли друг другу больше, чем кто-либо в этом городе доверял кому-либо.

Повар — брат Ансельм, огромный, красный, с ожогом на левом предплечье, который он получил двадцать лет назад, уронив котёл с бульоном, и с тех пор не уронил ни одного, но предплечье — помнило, и он бессознательно отводил левую руку, когда брал котёл, и котёл брал правой, и от этого — перекашивался, и бульон плескался, но не проливался, и Ансельм гордился — не бульоном, а тем, что не пролил.

Его бульон — мутный, серый, с плёнками жира, в которых отражался потолок кухни, — был, тем не менее, единственным приличным бульоном в Святой земле, и я это знал, потому что другого не пробовал, и Бертран это подтверждал, потому что пробовал все, и «все» означало бульоны от Шотландии до Египта, и ни один не был лучше ансельмовского, и это доказывало, по мнению Бертрана, что истинный талант не зависит от географии, а зависит от ожога.

Капеллан — отец Матье, тощий, длинный, с кадыком, который двигался, как поршень, при каждом глотке, и глотал он часто, потому что нервничал, а нервничал — всегда, и от нервозности — проповеди его были короткими, сбивчивыми, с длинными паузами, во время которых он глотал и кадык ходил, и солдаты в часовне считали глотки, и спорили, сколько до «аминь», и я однажды подсчитал: в среднем — тридцать два. По пятницам — больше, потому что по пятницам отец Матье говорил о грехе, а грех — тема нервная.

И Жильбер.

* * *

Он появился через два месяца, когда я уже привык — к жаре, к чайкам, к ансельмовскому бульону, к шатающемуся стулу. Появился — вошёл в комнату, сел за стол, положил перо и пергамент и начал писать. Без представления, без объяснения. Просто — сел и начал.

Худой, светловолосый, с лицом, которое в другом месте и в другое время было бы красивым, но в Акко, в жаре, под слоем пыли и пота — было просто лицом молодого писаря, каких тысячи: узкое, бледное, с чернильным пятном на скуле, куда он то и дело прикасался пальцем, задумываясь, и палец — в чернилах, и пятно — росло.

Он считал расписки. Тихо, точно, без ошибок. Не быстро — медленно. Основательно. Каждую расписку — дважды: первый раз — глазами, второй — пальцем, ведя по строке, как слепой ведёт по стене, ощупывая каждую букву, каждую цифру, каждую запятую. Бертран не проверял его — поглядывал, но не проверял, а непроверяемый клерк у Бертрана означал одно: доверие. Бертран не доверял никому, кроме цифр. Если доверял Жильберу — значит, Жильбер был не просто клерк.

Вечером, когда Бертран ушёл — он уходил каждый вечер на час, куда — не говорил, и я не спрашивал, и Жильбер не спрашивал, — мы остались вдвоём. Свечи горели — две, по краям стола, и от двух свечей — две тени, наши, переплетённые на стене, как переплетались наши свитки на столе.

— Ты новый, — сказал Жильбер. Не вопрос — констатация. Голос — тихий, без акцента, парижский. — Откуда?

— Провен. Ярмарки.

— Меняла?

— Меняла.

— А здесь — считаешь.

— А здесь — считаю.

— Одно и то же.

— Нет. Менять — это знать цену. Считать — это знать стоимость. Цена — на монете. Стоимость — в голове. Разница — в прибыли.

Жильбер улыбнулся. Не широко — краем рта, как улыбаются люди, которые ценят точность формулировок и редко её встречают.

— Ты давно с ним? — спросил он. — С Бертраном.

— Месяц.

— Я — четыре года. — Он макнул перо. Капля повисла на кончике — чёрная, тяжёлая. — Мой дед служил здесь. Писарем. Как я. Он рассказывал про казначея, который не стареет.

Капля упала. На расписку, рядом с суммой. Жильбер промокнул — аккуратно, тряпичкой, которая лежала рядом для этого, — и клякса стала бледной, и расписка — годной, и всё — как было.

— Дед мой умер двадцать лет назад, — продолжил Жильбер. — Мой отец — десять. Я здесь — четыре. Бертран — всё это время. Одно лицо. Та же рука. Тот же почерк. Тот же стул, который шатается. — Он помолчал. — Я не спрашиваю. Не моё дело. Но я — вижу.

За бойницей — шум: смена караула, шаги, лязг, чей-то голос: «Этьен, подвинься, ты стоишь на моём месте.» — «Твоё место — в аду.» — «Я там был, там тесно.» — Смех. Шаги. Тишина.

— Жильбер, — сказал я. — Ты не спрашиваешь — и хорошо. Не спрашивай.

— Не буду. — Он писал. — Но чернильное пятно на твоей левой руке — с утра. Шесть часов. Не высохло и не размазлось. Ты ни разу не вытер. Потому что привык. Потому что шестьдесят лет — привыкнешь.

Он не поднял головы. Перо — ровно. Почерк — аккуратный, не такой ровный, как у Бертрана, но — аккуратный. Почерк человека, который проверяет дважды.

Я посмотрел на свою руку. Пятно — да. Чёрное, на костяшке среднего пальца. С утра. Не вытер. Не заметил. Потому что — привык. Шестьдесят три года чернил на руке. Столько же — сколько таблиц в четырёх городах, сколько монет на столе, сколько курсов в голове. Привычка — как патина на монете. Не грязь. Время.

— «До завтра», — сказал Жильбер, вставая. Свеча его — догорала, фитиль трещал, и тень на стене качнулась и расплзлась. — Я каждый вечер так говорю. «До завтра». Потому что «завтра» — пока возможно.

Он вышел. Шаги — по лестнице, вниз, каменные, гулкие. Дверь внизу — стук.

«До завтра.»

Я услышу это каждый вечер. Семь лет. Две тысячи пятьсот пятьдесят пять вечеров, плюс высокосные. «До завтра» — и шаги, и стук двери, и тишина, и я — за столом, со свечой, с Гроссбухом, с чернильным пятном на руке.

Привычка. Не привязанность. Так я себе говорил.

* * *

Акко пал в мае.

Не сразу — сначала долго, медленно, как падают старые стены: трещина, ещё трещина, потёк, крошка, и ты думаешь — стоит, ещё стоит, ещё — и потом, в одну секунду, — нет.

Мамелюки подошли в апреле. Я их не видел — видел пыль, облако на горизонте, рыжее, как ржавчина, как те цепи в порту, и облако росло, и солдаты на стенах перестали играть в кости и стали смотреть, и лица их были серые, и не от пыли.

Брат Ансельм варил бульон. Каждый день. Как будто бульон — заклинание, как будто пока кипит котёл — стены стоят. Бульон густел — Ансельм клал больше мяса, больше костей, потому что «солдат должен есть перед смертью, а перед смертью — мяса, а не каши, каша — для жизни, мясо — для прощания.» Он это говорил, помешивая, и поварёшка — огромная, деревянная, отполированная двадцатью годами бульона — стучала о край котла, и в стуке этом была ритуальность, и утешение, и полная бессмысленность, потому что мясо не спасает от сабель, но Ансельм — не знал, или знал, но не хотел знать, или знал, и хотел, и всё равно варил.

Жан-Пьер — конюх, мальчишка — увёл лошадей к причалу. Рыцари спорили: лошадей — на корабли или оставить. Оставить — мамелюки заберут. На корабли — тесно, корабли и так перегружены, и лошадь на корабле — это четыре человека, которых не возьмут. Жан-Пьер слушал спор, стоя в стороне, босой, с щёткой в руке, и лицо — не детское, в двенадцать лет в Акко лицо — не детское, лицо — старое, с глазами, которые видели слишком много для двенадцати лет.

— Лошадей — на корабли, — сказал он. — Людей — тоже. Все поместятся. Я посчитал.

Рыцари посмотрели на него. Мальчишка. Босой. С щёткой.

— Ты посчитал? — спросил один, крупный, с красным лицом, в кольчуге, которая была ему мала и оттого — врезалась в шею, и шея — красная, в рубцах.

— Посчитал. — Жан-Пьер не отвёл глаз. — Двенадцать кораблей. По пятьдесят человек. Шестьсот. Лошадей — восемьдесят. Если лошадей — в трюм, а людей — на палубу, влезут все. Будет тесно. Но лучше тесно, чем здесь.

Рыцарь хотел что-то сказать. Не сказал. Повернулся и ушёл. Кольчуга звякала при каждом шаге, и звук был — как монеты в кошеле, и я подумал: кольчуга и кошель звучат одинаково, потому что и то, и другое — защита, только кольчуга — от сабли, а кошель — от голода, и оба — бесполезны, когда мамелюков двести тысяч.

* * *

Двенадцатого мая пролом.

Я услышал — не увидел. Звук: не удар, не взрыв, а — выдох. Как будто стена дышала три тысячи лет и наконец — выдохнула. Долгий, низкий, каменный звук, от которого задрожал стол, и чернильница подпрыгнула, и чернила плеснули, и капля — на свиток, на расписку, на

сумму «двести ливров», которую я писал, и сумма стала нечитаемой, и расписка стала мусором, и мусор — историей.

Бертран встал. Быстро — единственный раз, когда я видел, как он двигается быстро. Подошёл к бойнице. Посмотрел.

— Северная стена, — сказал он. — Пролом. Восемь локтей. Они внутри.

Голос — ровный. Как почерк.

— Свитки — в сундук, — сказал он. — Сундук — на корабль. Ты — на корабль.

— А ты?

— Гроссбух. — Он уже шёл к левой стопке — той, для Парижа, перевязанной бечёвкой. — Мой. Парижский. Его нельзя потерять.

За бойницей — крики. Не боевые — те, которые я слышал из казармы по утрам, когда солдаты ругались из-за места у очага. Другие. Тонкие, высокие, без слов. Крики людей, которые бегут и знают, что бежать некуда.

— Бертран. — Я стоял у стола. Свитки — справа, сундук — слева, расстояние между ними — три шага, и я мог сделать эти три шага, мог уложить свитки, мог поднять сундук, мог — но не мог уйти. — Ты из-за бухгалтерии останешься в горящем городе?

Он повернулся. Стопка — под мышкой, перевязанная, плотная, тяжёлая от чисел. И посмотрел на меня — тем взглядом, которого я ждал шесть лет, — не мимо, не сквозь, не в сторону, а прямо, и в глазах — не спокойствие, нет, не спокойствие: ясность. Ясность человека, который принял решение до того, как ты задал вопрос, и вопрос для него — не вопрос, а подтверждение.

— Мишель, — сказал он. — Цифры — это не всё. Но они — единственное, что останется, когда всё остальное сгорит. Иди.

Третья фраза. За шесть лет — три фразы. Негусто. Но каждая — Гроссбух.

Я ушёл. Взял сундук. Тяжёлый — пергамент, свитки, расписки. Потацил по лестнице — каменной, винтовой, и на каждой ступеньке сундук бил меня по ногам, и ноги — болели, и я считал ступени: двадцать четыре. Потом — двор. Потом — улица. Улица — не та, что три месяца назад: не тесная и шумная, а тесная и мёртвая. Лавки — закрыты. Двери — закрыты. Ставни — закрыты. Кузница — темна, наковальня — холодная, подкова — не доделана, лежит на земле, и кузнец — ушёл, и подкова — осталась, и лошадь, которая ждала подкову, — ушла без неё, и хромота где-то.

Колодец — пуст. Женщина с кувшином — нет её. Камни у колодца — сухие. Капли на пыли — высохли. Их нет. Никого нет.

Порт. Корабль. Трап — мокрый, и я чуть не упал с сундуком, и грузчик — последний, единственный, крупный, с лицом, залитым потом, — подхватил сундук снизу, и мы втащили, и сундук — на палубе, и я — на палубе, и корабль — качается, и чайки — кричат, и дым — чёрный, густой, поднимается из-за стен Тампля.

Жан-Пьер стоял на причале. Лошади — рядом, четыре, привязаны к столбу. Он не плакал. Гладил ближнюю по морде — серую, ту, в яблоках, со шрамом на крупе, — и лошадь дрожала, и мальчишка дрожал, и между ними — дрожь, общая, одна на двоих, как бывает одна дрожь у людей, которые боятся одного и того же.

— На корабль, — сказал ему Шимон. — С лошадьми.

— Все не влезут.

— Две. Выбирай.

Мальчишка выбрал. Серую — и рыжую, поменьше, которая была моложе и боялась больше. Остальных — отвязал. Шлёпнул по крупу. Лошади стояли секунду — потом побежали, по причалу, мимо крыс, мимо канатов, к городу, в дым, в огонь, в никуда.

Жан-Пьер смотрел им вслед. Потом — повёл оставшихся по трапу. Серая шла, храпя. Рыжая — упиралась. Мальчишка дёрнул — она пошла.

Корабль отчалил.

Акко — горел. Семь столбов дыма — семь кварталов. Потом — восемь. Потом — слились. Один столб — чёрный, жирный, до неба, — и в нём, если смотреть долго, можно было увидеть всё: кузницу, колодец, женщину с кувшином, таверну, монаха с разбитым коленом, петуха, муэдзина, прыщ часового, бороду спящего, крошки в бороде. Всё — в дыму. Всё — в одном столбе, который поднимался и расплзался, и ветер нёс его на запад, и через час — дым лёг на море, и мы плыли сквозь дым, и дым пах тем сладким и гнилым, которым я учуял Акко в первый день, только теперь — гнилого было больше, и сладкого — меньше, и к гнилому примешивался запах, которого я не знал, и потом узнал, и узнав — забыть не мог.

Горелое мясо.

Не ансельмовское. Другое.

* * *

Бертран выбрался три дня спустя. На рыбацкой лодке — маленькой, дырявой, с парусом из мешковины, которая пахла рыбой и солью. Гроссбух — под мышкой. В полотно завернут, перевязан бечёвкой. Сухой. Бертран — мокрый, в крови, которая была не его, и в грязи, которая была и его, и чужая, и земли, и моря.

Он сошёл на берег в Фамагусте. Шимон ждал на причале. Я — рядом. Жан-Пьер — рядом, с серой лошадью, которая нюхала бертранов Гроссбух и фыркала.

Бертран сел на камень. Положил Гроссбух на колени. Развязал бечёвку. Развернул полотно. Проверил — страница за страницей, быстро, пальцем по строкам, как Жильбер проверял расписки. Всё — на месте.

— Четыре сундука потеряны, — сказал он. — Три — в воде. Один — не знаю. Расписки за три года — в тех сундуках.

— Люди? — спросил Шимон.

Бертран поднял голову. Лицо — то, которое я видел впервые: не спокойное и не тревожное. Пустое. Как хранилище, из которого вынесли всё.

— Восемнадцать тысяч, — сказал он. — Плюс-минус.

За спиной — море. Синее, спокойное, без дыма. Чайки. Рыбачьи лодки. Мальчишка на причале — не Жан-Пьер, другой, кипрский, чумазый, — ловил рыбу удочкой, и у удочки — был крючок, и рыба — ловилась, и мальчишка — радовался, и радость его была такая же настоящая, как горе Акко, и обе — одновременно, и мир вмещал обе, и не лопался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.